

## ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

---

1

Сегодня трудно поверить, что было время — и, кажется, не такое уж отдаленное, — когда из нашей литературы почти исчезла семейно-бытовая тематика: сделалась «фоном» производственных отношений, драматическим добавлением, осложняющим напряженную трудовую жизнь литературных героев, и даже просто завлекательным элементом не в меру серьезной фабулы. Сам по себе быт как бы перестал восприниматься в качестве явления социального, превратился в мелочную подробность личного существования, любопытную для читателя, но идейно неполноценную. Дети, их сложные отношения со взрослыми обособились в совершенно отдельную литературную сферу, крайне привлекательную для читателя уже в силу своей исключительности. Старшему поколению современных читателей трудно забыть, с какой радостью была в свое время воспринята маленькая повесть В. Пановой «Сережа», — воистину это было литературным открытием.

Сегодня мы рискуем впасть в обратную крайность. Нет журнала, в котором бы не печатались повести о любви, почти всегда незадавшейся, о несложившейся или распадающейся семье, о быте, развещающем семейное счастье. Книжный рынок наводнился подобными сочинениями — различной глубины и весьма неравноценного художественного достоинства. Критика время от времени предпринимает попытки во всем этом разобраться. А жизнь все более настоятельно требует обобщений и раздумий — осмысления происходящих в ней перемен. Анализа с точки зрения живой — не формальной — морали, находящихся в процессе становления новых нравственных представлений. Что в них отмирает и что утверждается заново?

В самом деле, где в наше время проходит естествен-

ная и признаваемая граница между понятиями «нравственно» и «безнравственно» — применительно к бытовым отношениям? В любви, например? Как ни странно, сегодня это понятия довольно размытые. Нынешний уклад жизни заметно переменялся, даже в сравнении с тем, что было четверть века тому назад; он предоставляет большую свободу в поведении как мужчин, так и женщин. Умеют ли они этой свободой распорядиться? И есть ли вообще критерии истинности «настоящей любви», о которой говорят, что она выше, бесспорно, «формальной морали»? Жизнь редко вполне соответствует каким бы то ни было «правилам». Совесть — единственный безошибочный проводник, способный учесть и все привходящие обстоятельства в крутых лабиринтах житейских. Совесть, конечно, не отрицает и нравственных норм, но она сознает их подвижность.

О том, как на деле происходит этот таинственный и трудноуловимый процесс становления современного нравственного сознания в бытовой сфере человеческих отношений, позволяя судить и опыт литературных, художественных обобщений. Опыт не прямой и не всегда достаточно точный, зато богатый вариантами и подробностями. Современная, склонная к рационализму, проза дает своего рода «модель», которая воспроизводит сложнейшее взаимодействие основополагающих нравственных понятий: совесть, долг, добро, красота... Словом, приводит в движение механизм человеческих бытовых отношений, где скрещиваются «формальная мораль» с житейской логикой «здорового смысла».

За годы невольного аскетизма нашей литературе пришлось-таки расплатиться утратой многих художественных навыков — в изображении самых простых и естественных движений души, тех чувств, в глубине постиженья которых классическая русская литература, может быть, и навсегда уже останется непровзойденной. Тем не менее сдвиги и в этой области очевидны. Да и само развитие бытовой темы в современной прозе достаточно характерно.

Движение это начиналось четверть века назад воинственной серией произведений, что называется, «в защиту любви». Кто не помнит знаменитого вопроса: «А если это любовь?» Рождался поток сочинений антимещанского жанра, коего суть была в развенчании «формальной морали» прежде всего, а вместе с

тем и потребительского сознания, «вещной болезни», разлагающей личность. Потребительство виделось как едва ли не главная причина обеднения чувств, душевной ущербности, бездуховности.

Бездуховность — душевная пустота. Сперва мало-заметная, маскирующаяся под наивность и простоту. Иногда и в самом деле наивность и простота, которые, матерей, становятся, как говорится «хуже воровства».

Пример такого рода произведений: и «Пустошель» С. Крутилина, и «Сладкая женщина» И. Велембовской, и «Уличные фонари» Г. Семенова. Быт в них — воплощение мещанства, по преимуществу в женской его ипостаси, хотя встречались, конечно, и мужские варианты сюжета. Углубляясь, такая постановка вопроса вырастала до впечатляющего разоблачения мещанства духовного, далеко выходящего за пределы «вещного» потребительства и «потребляющего» уже не материальные ценности, а саму жизнь, человеческие души и судьбы. Мещанство, отравляющее все вокруг себя, мертвящее... В образцовом виде — это «Обмен» и другие подобные повести Ю. Трифонова.

В первоначальных литературных проявлениях этого ряда — «в защиту любви» — главным противником виделся «моралист», активный мещанин, осуждающий всякое живое чувство с позиции закорюченных житейских «норм»; мещанин — как воплощенная тупость и душевная слепота, кладезь мелколичной корысти, эмоциональной неразвитости и духовной скудости. В произведениях более поздних — у Ю. Трифонова, например, — атака велась уже на мещанство, претендующее считаться «интеллигентным», чуть ли не интеллектуальным! Тут «семейный» сюжет беспощадно исследовал историю душевной капитуляции, путь мещанского перерождения человека. «Обмен» духовности, душевной целостности, творческого потенциала — на мнимое, хотя материально, может быть, и вполне весомое благополучие. Распад личности в погоне за персональным комфортом.

А вместе с тем и само это слово «мещанство» — от частого употребления, что ли? — не то чтобы исчерпало себя, но как-то перестало воздействовать на сознание адекватно: оно словно бы обрело неожиданный лоск — дополнительные отсветы, блики, не равнозначные эмоционально. В каких-то своих оттенках, как, скажем, «мещанский уют», едва ли не приобрело нечто даже желанное.

Так же как и другое стершееся понятие — «простой человек», в смысле: самый обыкновенный, — как бы куда-то сместилось. Недавно еще звучавшее одобрительно и даже возвышенно, словосочетание «простой человек» обрело ненужный оттенок снисходительности, стало раздражать. Тогда как близкое по смыслу слов: «обыкновенный человек» — в смысле «заурядный» — стало менее вызывающим и сменило некогда уничижительный смысл на несравненно более благоприятный. В литературном обиходе — желательный. Так, о человеке самом обыкновенном и заурядном — о женщине, например, которую недавно еще называли бы пошлой, заговорили не только без всякого пафоса разоблачения, но и с сочувствием. Не с целью ее в чем-то оправдывать, скорее — с желанием разобраться: что же в действительности с ней происходит?

## 2

...Увы, обыкновенно это бывала женщина с несложившейся, как у нас говорится, личной судьбой. От чего-то не получалась ее семейная жизнь. И сама она часто выглядела в литературном изображении не особенно симпатичной, и судьбу свою чаще всего увечила собственными руками, и, как автору представлялось, сама была в своих женских горестях виновата, хотя и вызывала отчего-то сочувствие. В погоне ли за призрачно, несостоятельно мечтой, а может быть, от неоправданных личных претензий или еще по другой какой-то причине, но упускала она из рук свое простое женское счастье.

«А счастье было так возможно!» — этими пушкинскими словами можно было бы обозначить целую серию произведений на «личную тему». Ну, скажем, того же типа, что и упоминавшиеся уже «Уличные фонари» Г. Семенова, или как «Моя жизнь» В. Белова и примыкающие к этой маленькой повести его же рассказы «Воспитание по доктору Споку», «Свидания по утрам», «Чок-получок», — хотя тут автору было вполне очевидно, насколько непросто сегодня обстоит дело с этим простым женским счастьем. Да и точно ли оно — это счастье — так близко было и так возможно?

Прямо на такой вопрос уже не ответишь: слишком много тут всяких привходящих и уходящих — то ли уже ушедших совсем, а то ли еще не безнадежно утраченных? — жизненных обстоятельств.

Ну разве не любопытная проявляется иной тенденция в позиции некоторых — отменно во всем остальном современных — прозаиков-бытописателей: видеть некие жизнеспособные, плодотворные корни нынешней семейной культуры в давнишней, веками проверенной «простоте» старых домашних нравов? Эта оглядка на белую устойчивость бесхитростных домостроительных, чтобы не сказать домостроевских, учреждений. Пусть даже без их идеализации... Но нет, и современный бытописатель все же понимает и чувствует: силой прошлого не возвратишь. Как ни сочувствует Г. Семенов в «Уличных фонарях» своим славным старичкам Простяковым, он отчетливо видит, что правда нашего века, увы, не на их стороне, и как бы к этой правде ни относиться, она необратима.

В «городских» рассказах и повести В. Белова делается попытка, несколько торопливая, вникнуть в самое существо происходящих сегодня душевных преображений. И у него — своя точка отсчета. Перечитывая «деревенскую» прозу Белова, погружаешься в глубину органичной, здоровой жизни, что испокон веку вели его земляки, на родной его Вологодчине, где суровый труд и сама природа требовали от крестьянина немалой выносливости, терпения и особой нравственной стойкости. Инстинктивно чувствуя глубинность и многослойность этой жизни, Белов обращается к ней как к нравственному истоку, — поэтому и современность в его книгах так объемна и многоцветна. Думается, не случайно его «городским» рассказам и повести в сборниках предшествуют «Плотницкие рассказы».

Прежде, когда «Плотницкие рассказы» выходили отдельно, читательское внимание в первую очередь было обращено на отношения между стариком Олешей Смолиным и его сверстником Авениром Козонковым, на их постоянную распрю и разность характеров, а молодой, годившийся им в сыновья рассказчик оставался в тени. В соседстве с новыми рассказами, в которых он вновь появляется, этот рассказчик — Костя Зорин — выходит на передний план. Теперь уже нельзя не заметить существовавшую подспудно и в «Плотницких рассказах» какую-то его личную драму, гнетущую, неотступную. И неспроста начинает он свой рассказ с воспоминаний о послевоенном детстве, с того, как в четырнадцать лет впервые писал он «автобиографию»: «...отец погиб на войне, мать — колхозни-

ца. Окончив четыре класса, я поступил...» — и так далее. Костя Зорин в качестве «сквозного» персонажа соединяет деревенские и городские рассказы в своего рода «роман-пунктир», приоткрывая кое-какие глубины и маленькой повести «Моя жизнь», которая по существу тоже «автобиография», только женская.

«Моя жизнь» — повесть-конспект: торопливый, сбивчивый монолог «для себя» сорокалетней женщины, родившейся в Ленинграде в том же, что и Костя Зорин, 1932 году и девчонкой вывезенной из блокадного города в северную деревню. Всякого горя выпало ей на долю: и смерть родителей, и голод, и детдом, и неудачные замужества, и даже тюрьма; много ошибок совершила она — и по чужой вине, и по собственной глупости, многое перетерпела и многое поняла; и всегда помнила далекий момент своей юности: встречу с парнем из соседней деревни, — звали его Костя Зорин. В тот момент она, Таня, была, кажется, единственный раз в жизни по-настоящему счастлива, но судьба развела их с Костей в разные стороны, оставив лишь память о том первом, непосредственном и чистом, детском чувстве.

В сущности эта повесть — стремительный пересказ быстротечных событий одной зауряднейшей женской жизни; хочется даже сказать: трагически пошлой; банальной единичной судьбы, подхваченной неким мощным потоком, наподобие селя, сметающим все на своем пути. Это только самой героине кажется, что ее поведение — следствие ее собственных побуждений, что она в каждом своем поступке, хорошо ли, худо ли, но самоутверждается. Самоутверждается, так сказать, в плане нравственном. Может быть, надо взять это слово в кавычки: «самоутверждение» нравственное? Или даже «нравственное» самоутверждение? Потому что в поведении героини слишком много такого, что с привычным понятием о нравственном поведении едва ли совместимо; и самой героине ее «самоутверждение» вовсе не приносит чувства удовлетворенности. И счастливой она себя не чувствует. Впрочем, тут важно оговориться: с общественной и трудовой точки зрения в этой жизни хоть и случались падения, но в конечном итоге преобладал все же если не взлет, то какой-никакой подъем. Житейское благополучие тоже нарастало зримо и неуклонно: от голодных и полуголодных военных и послевоенных лет к явному домашнему благоденствию, материальной обеспеченности,

уверенности в завтрашнем дне. И вместе с тем в жизни личной, скажем так, странный обрыв...

А ведь казалось не раз и не два, что счастье само плыло ей в руки, да не смогла, не сумела удержать его; все как-то не удавалось сохранить семью. Казалось бы, если не умела чего-то, не понимала — так опыт бы научил! Ан нет, и опыт ее ничему научить не может: и во второй, и в третий раз она спотыкается на том же самом пороге. И с каждой новой неудачей что-то черствеет в этой женской душе. Сама того не сознавая, Таня все больше утрачивает ценнейшие женские свойства: душевную чуткость и доброту, откровенность, искренность самооценки. И все возрастает в ней настороженность, постоянная готовность к отпору, гордыня — взамен естественной женской гордости.

Автору многое в судьбе героини понятно: истоки ее внутренней неустойчивости на первых порах — детство, смятое войной, полуголодная, незащищенная, вне домашних стен, вне семейных охранительных традиций плутовавшая юность; жизнь учила склоняться перед силой, приспосабливаться, выкручиваться, оглядываться, остерегаться, а там и нападать, не дожидаясь удара. Чувству собственного достоинства где было взяться? По мере утверждения в жизни росло холодное самодовольство. Душа затвердевала, покрываясь защитной коростой. Естественное смолоду стремление к счастью, увы, так и не достигнутому, заместилось тяготением к покою душевному, как оказалось, более доступному.

«Сейчас я живу спокойно, — завершает она рассказ о себе, — не каюсь ни в чем, дети уже большие... Денег у нас хватает, квартира обставлена. К нам ходит один мой знакомый, это спокойный, почти не пьющий человек, он всегда приносит с собой то шампанское, то цветы... Однажды Катя выбросила его букет в открытую форточку. Я отшлепала ее по заднему месту, она заплакала и убежала... Миша, как поступил в ГПТУ, так сразу и перешел в общежитие. Домой он ходит редко...»

Вот такое, уже довольно привычное, современное, можно сказать, равновесие: после двух неудачных замужеств ее теперь не заманишь замуж! Ну, а детям опять-таки предстоит внесемейная, не защищенная родительским нравственным и душевным опытом юность.

Происходящие в жизни перемены особенно остро, болезненно отдаются именно в женской душе. Это со

всей очевидностью констатирует беловский «конспект» бытового сюжета. В повести и особенно в рассказах вполне очевидно то, что писателя несомненно страшит: рушащееся сознание женское, утратившее связь с традицией той устойчивой старины, но не пришедшее и ни к чему новому; оно, как лед по весне, крушится, ломается под ударами изменившейся жизни... Рушится то, что казалось еще недавно незыблемым!

Что происходит?

Растерянность — вот что преобладает в суждениях Кости Зорина, рассказчика, пытающегося понять причину невыносимости и своих собственных отношений с женой. Он чуть ли не обвиняет во всем случившемся пресловутую «эмансипацию», не уравнивавшую женщин с мужчинами, но тем не менее привившую им кое-какие мужские привычки, которые им излишни и не к лицу: несвойственный женщине от природы цинизм, потребительское отношение к миру, жестокое самолюбие, способное оказаться подчас сильнее природных инстинктов, сильнее даже материнского чувства, русалочья, рыбаья кровь...

Разве Тонька, думает он уже о своей жене, не та же утопленница? «Она давно утонула в своей дурацкой работе, она чокнулась на эмансипации, хотя еле волочит ноги...» И так естественно он переходит от рассуждений о жене к суждениям по поводу вообще нынешних женщин, которые все хотят быть независимыми, разговаривают с мужьями «с позиции силы», пишут на них бумаги и даже сажают в тюрьму... А если так, то откуда и взяться мужскому рыцарству? «Да... кого же тогда защищать мужчинам? Кого им жалеть и любить? Самих себя, что ли?» — восклицает он с раздражительной риторичностью.

Костя Зорин далеко не худший из современных мужчин; в нем не иссякло рыцарство, невзирая даже на все эти рассуждения.

Но почему жена всю жизнь борется с ним? Почему всегда его себе противопоставляет и в каждом его действии видит прежде всего угрозу собственной независимости? Почему, в самом деле, они всю жизнь так свирепо воспитывают друг друга?

Танина «автобиография» в некоторой степени проливает свет и на Костины семейные неурядицы. Во всем этом ведь можно увидеть и намек на то, что они, эти двое, в жизни так и не встретились. И все же не в этом, думается, причина происходящего. Канва и



той и другой жизни могла быть расшита иначе, могли они даже и встретиться спустя много лет, могли вообще не терять друг друга, но суть в том, что годы спустя и сам Костя был «уже совсем, совсем другой» — в нем «ничего не осталось от того стыдливого деревенского парня», и Таня сполна вкусила уже безалаберной, полубездомной жизни. Нравственная основа их характеров, заложенная в детстве, в родительских семьях, была уже непоправимо нарушена.

В рассказе «Воспитание по доктору Споку» на детально выписанном фоне повседневного быта, в текучке будней, когда прораб Зорин вертится целый день как белка в колесе, колдует над тарифной сеткой, выписывая рабочим наряды, подает объяснительные записки начальству, присутствует на заседаниях или мечется между строительными объектами, — в гуще забот он особенно остро переживает и свой разлад с женой, и невозможность воспитывать должным образом дочку, ощущает свое полное бессилие на семейном фронте.

Упрекая жену, Зорин в чем-то прав, а в чем-то, безусловно, несправедлив; он хорошо сознает, что и сам не без греха: может зачастую и выпить без меры, и несдержан бывает, и нервы у него, что называется, на пределе, — но все же симпатии автора явно на его стороне, потому как мучает Костю Зорина совесть, не смирился он с властью суеты, и недаром снится ему по ночам светлый образ босой девчонки, стоящей на речном камне, и сжимается у него сердце «от всесветной тревожной любви». Девчонка эта — и та самая Таня, эвакуированная из Ленинграда, и одновременно — жена его Тоня, и Зорин в недоумении: почему они во сне всегда так странно соединяются в одну? Не потому ли, что утраченная мечта не может примириться с реальностью? А может быть, это две ипостаси одного и того же образа современной женщины? Она бывает и ласкова и груба, и слаба и агрессивна, и покладиста и вздорна — в зависимости от обстоятельств, от ситуации, в какую она попадает и кто оказывается с ней рядом. Может быть, мужчины, и Костя в их числе, тоже виноваты в ее «раздвоенности»? При всей своей искренней солидарности с героем, писатель не снимает с него вины, хотя и дает почувствовать, что в Костиных «домостроевских» замашках, в его нетерпимости к цинизму в любви куда больше правоты и правды, чем в натужном и неестественном, регламен-

тированном модой поведении его жены Тони. Не стремясь к однозначным решениям, В. Белов все же окончательно развенчивает Тоню в рассказе «Чок-получок», где она в восхищении от «утонченного» разговора со столичными пошляками физиками готова презирать своего «отсталого» мужа за невоспитанность и нетерпимость.

Рассказ «Свидания по утрам» — заключительный аккорд в семейной истории Кости Зорина: развод оказался неминуем, семья рухнула, ничего, кроме «омерзительной ненависти», к бывшей супруге он уже не испытывает, и только «гримаса боли, отчаяния и недоумения» в заплаканных глазах дочки при каждой встрече с ней рвет ему сердце.

В рассказе «Чок-получок» В. Белов набрасывает силуэты и более молодых, выросших в более легкие времена, различных по уровню нравственной самостоятельности женщин. Из тех послевоенных девчонок, воспитанных вне традиций: эти не знают даже, что хорошо и что плохо; не представляют, куда и как они ступят в ближайший миг. «Мораль для таких дурочек либо не существует совсем, либо понятие старомодное», — с горечью замечает писатель. Им и живется легко — безответственно!

Что же делать с такими? Вопрос повисает в воздухе. В самом деле, можно ли их научить хотя бы элементарно различать понятия: нравственно и безнравственно? Как помочь им обрести свое истинное лицо, сознание собственного достоинства?.. На эти вопросы ни повесть, ни рассказы В. Белова не отвечают. Попытки что-то понять, объяснить — это частности. В том числе и убедительное на первый взгляд объяснение: все же нельзя всю сумму нравственных «загадок» свести к некоему „промежуточному” в своем роде положению этих женщин, расставшихся с деревней, но не приставших по-настоящему и к городу. Стыдящихся своего деревенского прошлого. Это отчасти лишь объясняет их душевную фальшь и жесткость. Белов пытается найти причину — истоки этой духовной неполноценности. Причину душевного бескультурья.

«А что это, собственно, такое: культура, мода и современность?» — спрашивает беловский герой, и мы понимаем, что именно этот вопрос больше всего тревожит и самого писателя. Горизонты его художественного взгляда, конечно, неизмеримо шире кругозора

прораба Зорина, и он понимает, что суть дела далеко не в одной только преданности героев их деревенской родословной или отречении от своих корней. Разумеется, забывать родную деревню, гнушаться дедовским наследием опрометчиво и аморально, здесь двух мнений не может быть, но ведь проблема нравственной культуры и семейного воспитания куда сложнее, она в равной мере затрагивает и деревню и город, и мужчин и женщин, и тех, кому за сорок, и тех, кому нет еще тридцати. Не ради иронии по поводу «городской» пришедшей моды на доктора Спока обратился В. Белов к этой проблеме, а потому, что на примере своего поколения ощутил, как непросто отделить и в нашем повседневном бытии истинные моральные ценности от мнимых, крикливую полукультуру от культуры подлинной, здоровой, прозорливо увидел, в каких острых противоречиях оказываются порой неумолимые веления прогресса и живые потребности человеческой души.

Любопытно, что В. Белов не считает нужным скрывать, как он мало сочувствует «современной» одержимости пресловутой женской «свободой», а в особенности «свободой любви», во имя которой иные готовы пожертвовать всем, что извечно казалось бесценным. Даже своим материнским долгом... Впрочем, это же можно сказать и об отцовском долге, и о мужской «свободе». «Но можно ли быть свободным от совести? От материнского или отцовского долга?» — драматически спрашивает писатель. Спрашивает, естественно, от лица своего героя, Кости Зорина, которому свойственно все заострять... Иронически замечает он: неужели прогресс — это когда женщины становятся все мужественнее? А мужчины — женственнее... Тут писатель и вовсе не прячет усмешки. И даже кажется, что на этот счет он имеет свою точку зрения, хотя и не спешит ее обнаружить...

В самом деле, а может быть, само время покажет, что и как должно получиться в итоге?

### 3

В современной прозе множатся разного рода попытки разобраться в характере сегодняшних личных взаимосвязей, бытовых отношений, растет желание выявить новую меру вещей, уточнить, так сказать, шкалу нравственных ценностей. Литературные опыты

этого рода приносят первые, подчас довольно-таки неожиданные, результаты. Разумеется, это еще не итоги наблюдений. Идет пока что накопление опыта.

Подчас в одновременно опубликованных произведениях совсем непохожих авторов обнаруживается поразительное единомыслие, а в самом житейском материале — цепочки удивительных закономерностей и даже сходство сюжетных построений, возникающее в связи с похожестью неких типичных жизненных ситуаций; литературный «сюжет» моделирует современное поведение человека в быту. И весьма характерное поведение!

Герой повести Геннадия Николаева «Квартира» — можно сказать, образцово-показательный персонаж нашей нынешней прозы: молодой рабочий-строитель. Каменщик. Передовик производства. Человек весьма добросовестный, как на работе, так и в домашней жизни. С типичной, почти заурядной судьбой. Позади у Сергея — так зовут героя «Квартиры» — десятилетка и служба в армии. В перспективе, может быть, институтский диплом. Пока на это времени не хватает. Есть у него и семья: жена Надюха и дочка Оленька, — он им предельно предан. Живут пока что у ее стариков: в тесноте, однако же не в обиде, хотя старики, как это водится, своенравны, а в последнее время стали еще и прижимисты; тесть на старости лет завелся мечтой о даче.

Надя, жена Сергея, работает на той же стройке. По натуре она не очень современная женщина, скорей даже старой закваски: ее нравственные понятия отличаются твердостью и, пожалуй, некоторой прямолинейностью. Ей, возможно, не хватает гибкости. А вообще-то Надюху совсем не заботят все эти проблемы женской независимости; и вздорности в ее характере тоже нет; а главное, выкладываться она привыкла на всю катушку — и дома и на работе. Наверное, правильнее будет сказать просто: в работе. В любой настоящей работе!

И выбор ею сделан однажды и навсегда. Ни малейших сомнений не возникает в ее преданности семье. Мужа она любит по-настоящему и уважает. Безусловно уверена в нем...

А все же изредка она просит Сергея, как-то жалобно улыбаясь при этом: «Не обманывай меня». Для нее это очень серьезно.

Сергей все это как будто бы понимает.

Исходная точка описанных в повести событий, иначе сказать — момент, дающий внезапный толчок размеренному течению повседневности, это неожиданно возникшая возможность вступить в кооператив: квартира! Это значит — не ждать своей очереди годами, а уже через месяц выложить некую «сумму», и вот она, квартира, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой...

Сумма, однако же, нешуточная. Эту сумму еще надо каким-то образом раздобыть: ссуду взять, набрать займы у знакомых — кто сколько сможет дать, остальное заработать по вечерам — на ремонтах.

Фабула самая злободневная, выхваченная из гущи житейских страстей. Что дает она в смысле сюжетном? Экстремальную ситуацию: когда человек, сосредоточившись, напрягает все свои силы, физические и душевные, побуждаемый к тому обстоятельствами, которые от него не зависят. В своем роде экзамен на выдержку и на выносливость. Испытание характера. Нравственный потенциал человека проверяется, что называется, на пределе возможностей. Хотя, если подумать, и не бог весть какое это событие — просто квартира. Однако и это по-своему важно: именно, что не бог весть! Такое испытание может оказаться гораздо труднее, чем если бы дело касалось чего-то более общезначимого и важного, воистину достойного предельного напряжения сил.

Сергей всерьез обещает своей Надюхе, что «разобьется в лепешку, ляжет пластом, а заработает на квартиру».

Ну что же, и разобьется...

Работая с мужем вдвоем на ремонте обширных профессорских апартаментов, и Надюха не пожалует сил; уж она-то Сергею в самоотверженности не уступит.

И верит ему она беспредельно. И тем более жаждет рая с ним, в отдельной квартире, без родителей, без отцовских попреков в пустом и бездумном транжирстве. Надюха ради этого рая готова на все. И только просит Сергея, жалобно улыбаясь, ее «не обманывать». А Сергею смешно это слышать. Он — парень что надо, знакомые девушки на него обращают внимание, только сам-то он полагает, что свое давно отгулял, еще до армии: «покрутил динамо» — он так это называет. Теперь днем работа и вечером тоже работа, хотя и мечта об институте еще не заброшена, просто на время, как ему кажется, отодвинулась в силу незави-

сящих обстоятельств. Тут в кино сходить и то некогда, а не то чтобы шашнями заниматься... Ну а привычная игра с работающей рядом Ириной, можно сказать, не в счет.

Сергей знает, что эта странноватая девушка влюблена в него: то она мимо ходит — в упор не видит, а то сама клеится, караулит его. Нельзя сказать, что ему неприятна ее тихая, вкрадчивая осада, ее кошачьи повадки: сама-то «маленькая, бледненькая, глазницы во все лицо — пугалы черные». Сергею ее подходы понятны, а только все это ни к чему, он приключений не ищет, у него самого—Надюха и дочка Оленька: «самые дорогие существа на свете». Странно ему слышать это жалобное Надюхино «не обмани».

Так дело обстоит на исходной позиции, а в конце повести, в итоге всех «обстоятельств», Сергей свою Надюху обманет. Без нужды, без душевной потребности, мимоходом. И с непостижимой легкостью расстанется с самыми дорогими ему существами.

Случайно ли все это произойдет? Нет, пожалуй...

«Падение» Сергея произойдет не по инерции даже — в силу душевной опустошенности, возникшей вследствие непривычных усилий, непосильного, видимо, напряжения. Видимо, так. Странное равнодушие, вдруг овладевшее им, могло быть только следствием «спринтерского» рывка в погоне за той искомой «суммой». Борьба за «сумму» убила что-то в его душе.

Сергей по натуре человек отнюдь не корыстолюбивый. Деньги—не цель для него, и погоня за «суммой» его вовсе не вдохновляла. Не могла она вызвать в нем истинного душевного подъема. В Сергее, каким он показан в повести Г. Николаева, не ощущается вовсе знакомого нам мещанина-собственника, для которого замкнутый круг семейных его интересов в состоянии заменить собой целый мир. Или затмить его. Может быть, именно потому и случился в душе Сергея тот «вакуум», когда он сделал свой вынужденный рывок? Что-то распалось при этом в его личном сознании: исчезла привычная мера вещей, а более основательных нравственных принципов не нашлось.

Когда сумма была уже почти полностью собрана и толькой малой части ее не хватало, в самый последний день, Сергей за этой остающейся частью поехал к Надюхиной школьной подруге Магде Михайлиной, которую сам он всегда и терпел-то с трудом. Для этой женщины всякая сумма была ничто, потому что она

имела свои нехитрые способы множить деньги, спекулируя кое-каким дамским дефицитом, разживаясь им у приятеля-морячка. Магда пыталась привлечь и Надюху к своей коммерции, та было согласилась, но потом то ли струсилась, то ли застенялась и возвратила Магде ее товар. Сергей ничего не знал об этом неудавшемся опыте, не знал и что Магда на Надюху обиделась. Он в конце концов мог бы эти недостающие двести сотни взять в долг у Ирины: та сама ему предлагала свою заначку, скопленную на модный брючный костюм. Сергею показалось неловко взять эти деньги. Магда — иное дело: «жох-баба, подметки рвет на ходу»! Она деньги дала ему сразу, как попросил, ничего они ей не стоили.

...Потом уж, когда Надюха с присущей ей прямо-той спросила, «до» или «после» получены были деньги у Магды, Сергей задумался: сразу-то он и не понял даже, какая разница... Надюха, похоже, еще могла бы его простить, если бы он ее «обманул» ради этих проклятых денег, ради квартиры. Так нет же! Как она поняла, он одно с другим даже не связывал.

Видимо, Сергей так и не понял по-настоящему, отчего жена ушла из новой квартиры сразу же после их веселого новоселья, на котором развязная Магда чувствовала себя хозяйкой положения: не утерпела и все-таки перед Надюхой своей «победой» похвасталась. Сергей даже не сразу поверил, что Надюха ушла от него. И ничего не сделал, чтобы с ней помириться. Был ли он чересчур оскорблен случившимся? Может быть! Новенькую квартиру вскоре стали менять на две комнаты в разных районах.

Тут не столько в характере Сергея хочется разоб-раться, сколько в уровне его нравственных представлений.

История с квартирой — стержень сюжета, имеющего и боковые отростки. Автор старается показать своего героя разносторонне: на работе — в незаурядном его мастерстве, в отношениях с товарищами по бригаде, а кроме того — в не совсем обычных, но важных по-своему отношениях с профессором, у которого они с Надюхой ремонтировали вечерами квартиру; рассчитыва-вая порядочно заработать, трудились на совесть.

Еще до того как они взялись за этот большой ре-монт, у Сергея случилась другая халтурная работен-ка, в паре с Мартынюком — из их же бригады, лентя-ем и выпивохой, — у которого был один лишь прин-

цип в работе: зашибить на бутылку. Мартынюк Сергея позвал к одной женщине, попросившей его сломать и вынести из комнаты больше ненужную печку. Они печку в один вечер расколотили и вытаскали во двор, после чего Мартынюк, придерживаясь привычного, проверенного правила—сначала работу сделать («Не боись, хозяйка, мы не шкуродеры!»), а уже после шандалахнуть—никуда ведь не денется, рассчитается! — потребовал у хозяйки за вечер самой халтурной работы (и пол даже не заделали) сто пятьдесят рублей на двоих. Бедная женщина так растерялась, что тут же положила им все, что нашлось в доме—свои отпускные... Сергей встретил ее назавтра с сумкой пустых бутылок, и ему стало стыдно. Мартынюка он прижал — отобрал половину вчерашних денег, из своих тоже отделил половину; восемьдесят рублей возвратил — восстановил справедливость. И даже пообещал заделать пол, умиленный радостью старухи, хозяйкиной матери. Заделать, правда, не заделал, но долго еще помнил об этом, вспоминал этих женщин — хозяйку, ее мать и девочек, — весь их невеселый, какой-то серенький быт.

Старуха ему рассказала, что был в их доме и зять когда-то, хороший зять, инженер, способный, только не пробивной. На городской очереди они семь лет простояли — квартиры так и не дождались: зять с попреков жены пить начал, маялись с ним, а потом он и вовсе от них сгинул — подался на Север за длинным рублем. Сто рублей им прислал — за четыре-то года!

Такие отвлечения сюжета как бы оттеняют характер героя, вносят дополнительные оттенки, создавая подобие перспективы. Ну, скажем, эта семья из одних женщин в известном смысле может послужить прообразом будущего Надюхина семейства. Отец ее не протянет долго, а замуж она, однажды так обманувшись, едва ли вторично выйдет...

С другой стороны, параллельно этому казусу с вымогательством денег у женщины, автор проводит и другой денежный «эксперимент»: тут уж у самого Сергея, можно сказать, бессовестно изымают его законную часть. Когда ремонт профессорской квартиры был полностью завершен, самого профессора дома не оказалось и все расчеты производил его сын, очень современный человек и тоже ученый. Он сделал расчет с помощью электронной машины: высчитал с математической точностью — сколько за какую работу по-



ложено. А что работа была сумасшедшая и на совесть — разве машина может учесть? Сергей получил на сто рублей меньше, чем полагал. Такой оборот его мало сказать огорчил — огорошил! Обидел. До глубины души оскорбил. Особенно после дружеских разговоров с демократичным профессором. Как в душу плюнули. Он и спорить даже не стал — ушел! Больше всего во всем этом поражает почти детская непосредственность его реакции. Как, впрочем, и понятий его о совести, справедливости... Какой-то чисто эмоциональный отклик на все. Несопоставимо более острый — если несправедливы лично к нему! Но довольно легко затухающий, когда сам он выступает в качестве несправедливо действующей стороны.

И та же детская — в отличие от «негибкой» Надюхи — отходчивость: Сергей побывал еще раз у профессора и получил-таки эти недоплаченные ему сто рублей в виде «премии», а еще полный рюкзак разных книжек в придачу — на память о дружеских разговорах.

В повести Г. Николаева эти ученые разговоры играют почти сюжетную роль: и рассуждения об истории, о Петре Великом, о государственной необходимости и жестокости, и цитаты из исторических книг. «Паче же вещественного богатства надлежит всем нам обще пещися о невещественном богатстве, то есть о истинной правде...» — это уже и в петровские времена люди умнейшие понимали. Рассуждение Посошкова, деятеля петровских времен, по-своему концентрирует главную мысль повести, подчеркивая ее необычностью словесного выражения.

Сергея по-мальчишески тянет к ученому разговору и вообще к науке, к умным людям, к серьезным книгам. Только вот что странно: когда Сергей уходит от профессора с рюкзаком подаренных ему книг, в нем особой радости не заметно. Так же, как нет и особенного трагизма в его сознании, что навсегда потерял Надюху. Как будто бы любимую игрушку потерял! Не сознает он, что предал с нею и частицу своей души. Надюха-то именно так это все понимает, предал! А вот он словно бы не до конца понимает, что с ним произошло. Все его чувства словно бы лежат на поверхности. И что семья распалась — для него не беда, а обида.

Насколько же характерна для нашего времени такая психологическая «модель»?

Автор, обо всем рассказав обстоятельно, не спешит делать выводы.

4

В романе Вячеслава Усова «Режим таяния» совершенно иной жизненный материал, и герои как будто совсем другие, хотя в чем-то неуловимо похожие на Сергея. Взятый В. Усовым ракурс тоже совсем другой, но тем более поражают кое-какие прямые сюжетные совпадения. Это не то, что принято называть неоднократно использованным литературным приемом. Однотипность сюжетных ходов здесь происходит вследствие сходства житейских явлений, привлекающих внимание писателей.

Фабула в романе В. Усова — замысловато закрученный, почти детективный, во всяком случае достаточно загадочный ход событий. Здесь тоже все сосредоточено вокруг строительства кооперативного дома. Необычный ракурс в некоторой степени зависит от того, что происходящее в романе большей частью рассматривается и оценивается с позиции очень юной и очень непосредственной героини — вчерашней школьницы Риты, ныне работающей на строительстве этого кооперативного дома. Она невольно оказалась в центре всех сюжетных переплетений. Внешне, во всяком случае, сюжет романа разворачивается как сложные отношения Риты с двумя, казалось бы, совершенно друг на друга не похожими мужчинами.

Один из них — Костя — ее ближайший сосед по коммунальной квартире; он тоже работает на этой стройке. Костя — ровесник Риты, свой человек в их патриархальной семье; родителям Риты хотелось бы обрести в Косте сына, которого им так не хватает. «У Кости разработанные слесарские руки и невыразительное лицо подростка со вздернутой губой. И нос вздернутый...» И вообще, надо сказать, весь он какой-то «вздернутый», — может быть, вследствие своего отношения к Рите, которое по всем признакам следовало бы назвать любовью, хотя по существу их едва ли не с детства соединяют те безличные отношения, которые в молодежном обиходе иногда именуется «дружкой», а чаще и того проще: она-де с ним «ходила». В Косте есть непонятная, почти трогательная беспомощность. Но вместе с тем автор подчеркивает и «бессильную тусклость» Костиного взгляда, его абсо-

лютную зависимость не только от Ритиной, но и вообще от чьей бы то ни было сторонней точки зрения. Своей он попросту не имеет, да и чужих взглядов не усваивает, а как бы подхватывает их...

Отмеченная автором «тусклость» — Костино глубоко личное свойство, выражение своего рода недоразвитости всех его чувств, примитивность сознания. В. Усов, может быть, даже чуть-чуть утрирует это свойство характера, в жизненном правдоподобии которого едва ли кто усомнится. Увы, это явление сегодня довольно распространенное. И даже в литературе — уже не открытие. И все же именно Костя самая любопытная фигура в этом романе. Может быть, потому, что самая тревожная. Его единственный жизненный импульс: «пожить, как люди»!

А Борис Алексеевич — самый дальний Ритин сосед. И в буквальном смысле, и в переносном. Живет он хотя в той же квартире, но в самом отдаленном ее конце, отделенный от Ритинога конца длинным и темным коридором. Что-то почти символическое в этом коридоре заключено. Борис Алексеевич — ученый, очень загадочный, увлеченный ко всему еще модной «хатха-йогой», душевно чужой для всех остальных обитателей этой квартиры, нестарый еще человек. Лет ему, должно быть, около сорока. Живет одиноко. Соседи, не умея с ним сблизиться, посмеивались над чудачествами ученого, а за отчужденность и непонятную жизнь не любили его. Рита смело прорвала этот кордон квартирной неприязни и по своей собственной инициативе сблизилась с Борисом Алексеевичем. А проще сказать — по-девичоночьи безоглядно в него влюбилась.

Основанием второго «треугольника» в этом романе является Борис Алексеевич. Одна сторона его — Рита, другая — уже не совсем молодая сотрудница Тоня, лаборантка, которой Борис Алексеевич охотно позволял заботиться о себе, проводить с ним изредка свободное время и надеяться на более прочные семейные отношения. Бориса Алексеевича мучили эти затянувшиеся не по его воле отношения «какой-то неразрешимой полудлюбви». Неразрешимой — вследствие собственной его нерешительности, которая в прошлом году чуть было не привела его к женитьбе: в последний момент Борис Алексеевич уклонился, ничего так и не объяснив безответной Тоне. В то же время, как замечает автор, «он был настолько скрытен, что о его метаниях Тоня

не имела ни малейшего понятия». Для нее в этих отношениях заключался едва ли не весь смысл жизни.

В отношениях с юной Ритой Борис Алексеевич видел вначале нечто романтическое: он себе позволял любоваться ею, «как миниатюрой или книжной заставкой, радостно и бескорыстно», — но Рита, решительная в поступках и очень непосредственная в чувствах, скоро спустила его на землю. Рита — «безрассудная девочка, слегка сошедшая с ума от непонятной и необъяснимой любви». В странном соседе ее больше всего привлекает его «чужачество» — что-то такое, чего она никогда не встречала в привычном своем окружении. Одержимость наукой.

Бориса Алексеевича всецело занимали каламусы — крохотные рачки, проспавшие тысячу лет в ледяном припае, — их он надеялся оживить. Серенькие крохотные создания должны были вспыхнуть цветами радуги! Но в известном смысле спящие эти каламусы тоже несколько символичны. Есть в них намек на душевные свойства героя романа. Сможет ли дерзость Ритиных говест разбудить его спящую душу? О Тоне уж что говорить! Она вместе с ним оживляет каламусов, притворяется увлеченной, хотя в сущности просто надеется быть полезной ему.

«Режим таяния» — название многоемкое...

Эти двое мужчин в романе В. Усова как два полюса — Костя с его почти стерильной душой и увлеченный наукой Борис Алексеевич. Если для Кости нет ничего выше его почти недостижимой «мечты» о своей (разумеется, вместе с Ритой) квартире, то Борис Алексеевич, лишь уступая самой крайней необходимости, ввязывается на миг в квартирную борьбу, его к этому обстоятельства вынуждают, и ради этой ненужной ему борьбы он скрепя сердце жертвует временем, упуская нечто для него несравненно более ценное... И как же горько он жалеет каламусов, которых не удалось оживить без него! «Не потому ли, что ценой их жизни Борис Алексеевич осилил мелкого квартирного врага?» Этого «предательства» по отношению к каламусам он себе не прощает.

Но есть и нечто удивительно сближающее этих двух непохожих мужчин: неустойчивость их житейских нравственных представлений. И право же, когда Борис Алексеевич в нечаянном столкновении с Костей — из-за Риты — хватается за ледоруб, он выглядит в своем «рыцарском» порыве даже более «тусклым» и «бес-

помощным», чем его соперник. И хотя их нравственная неустойчивость дает иногда совершенно несопоставимые проявления, существа дела это не меняет...

Костя — воплощенная «простота». Автор отчетливо отграничивает его от известного рода умельцев создавать свое личное благополучие всеми законными и незаконными средствами, наподобие Магды Михайлиной из «Квартиры» Г. Николаева или Валерки в «Режиме таяния», способного лихо «шустрить». Та же простодушная Рита к Валерке относится с инстинктивной брезгливостью: «что-то потаенное» видит она «в печальных воровских глазах» этого красивого и ловкого парня. Костя — иное дело. Он, даже можно сказать, воинственно прост. «Мы люди простые, — объясняет он с чувством явного своего превосходства Борису Алексеичу, — что заработаем — съедим!» Все, что требует хотя бы некоторого умственного напряжения, для Кости равносильно нарушению правил игры. Все такое он обозначает емким словом «шустрить», а шустрить — не его стихия!

«Бывалый человек», ловкач с уголовным прошлым, некто Мощный в Косте видит лист белой бумаги, на котором что хочешь пиши. И неудивительно: нет у Кости никакой изначальной, собственной нравственной основы; он незащищен перед чужим злым опытом, перед чужою душевною силой, доброй или недоброй. Мощный с особенным удовольствием перед Костей «философствует». «Ничего плохого, если человека поволокло на удобства, — благодушно резонерствует он. — У людей запросы поднялись на такую высоту, что до конца жизни хватит мечтать. Сперва — квартира, кооператив. Обстановка, шмотье. Машина, дача. Все получил — меняй на лучший район...» А сам этот Мощный живет безалаберно, в общежитии, дальше обильной выпивки его реальные запросы не идут, но для наивного Кости его «мечты» — радужный предел всех его душевных запросов.

Что, заметим, особенно характерно для современной социально-бытовой беллетристики? Чрезвычайная, подчеркнутая отчетливость негативных нравственных формулировок! Особенно это касается расхожих житейских «принципов» обывателя. Опытный, или, как чаще его называют, бывалый, сторонник наибольшей свободы нравов — разумеется, в рамках уголовного кодекса! — чувствует себя проповедником. «Так что, Костюха, — советует молодому приятелю Мощный, —

ты сперва лапами поблизости пошарь, нет ли чего теплого!» При этом не упускает заметить строго: «Шустри, но не воруй!» Для него самого это значит: «Воруй, но не попадайся».

Костя, и Моцному это ясно, слишком уж прост — попадетсЯ, да уж тут что поделаешь — сам виноват...

Конечно, были у Кости и другие, хорошие учителя, да только много ли могли ему дать добродетельные советы добрых и бесхитростных Ритиных стариков: «Живи просто, Костя!» А куда проще-то? «Живи, работай...»

В литературном отношении Костя — персонаж куда более цельный и выразительный, чем Сергей из «Квартиры». Более завершенный в своей перспективе. Можно, конечно, сказать, что и самая цельность Кости ущербна. В Сергее ведь если что и обнадеживает, так его «двойственность». Сергей, хоть прямо в этом и не признается, очень рад, когда от самоотверженной поденщины ради «суммы» ему удастся вырваться ненадолго на какие-то соревнования каменщиков, — и там надо до предела выкладываться, но ведь не ради корысти — для душевного интереса. Соревнования — все-таки общелюдской интерес! Сергеем это кажется более привлекательным, чем вкалывать ради себя самого. Тут его Костя, скорее всего, не понял бы. Косте какие бы то ни было общественные интересы не то что бы чужды, а пока недоступны. Не созрел он еще до общественных интересов, до общечеловеческой жизни. В нем нет никакой идеи, связующей его с человечеством. И может быть, вследствие этого дремлет в нем и такая наипростейшая добродетель, как совесть.

Что с Костей происходит в романе?

«— Я с тобой жить хотел, как люди, — объясняет он Рите с самой серьезной искренностью, на какую способен. — Отдельно, своей семьей, в двухкомнатной улучшенного типа. Гарнитур, телевизор с большим экраном. Ты не думай, я постоянным вором не собирался, мне... сумма была нужна. Я сперва честно хотел подхалтурить, однажды с Ефимом сшиб десятку за вечер...»

Именно «сумма», которую Костя по мелкости своих реальных возможностей никак не может — в отличие от Сергея — в короткий срок заработать, и побуждает его украсть на стройке дефицитные заграничные плитки. Видимо, по совету Моцного! При этом Костя субъективно, так сказать, продолжает себя чувство-

вать честным человеком: он бы и хотел заработать, да не умеет, а воров быть его вовсе не привлекает! И не будет он воровать — только «сумму».

Как у Бориса Алексеевича стоит перед глазами радужный цвет оживающего каламуса, так радужно застила свет в глазах Костиных сумма. «Две пятьсот — взнос за квартиру. Две — обстановка. На разгон пятьсот, чтобы каждую копейку не считать. Пяти тысяч хватило бы...» — объясняет он Рите. Речь идет вовсе не о житейской нужде. Костя зарабатывает неплохо. Но его одолела «мечта», осуществить которую иначе — значит надо «шустрить», а ведь он простой человек! Но разве он хуже других? Не имеет права пожить «как люди»? То, что делает он, для него равноценно Сергееву «разбиться в лепешку». Для Риты! Рита, между прочим, его понимает и его «самоотверженностью» по-своему даже гордится — ведь это ради нее... Преступности своего поступка Костя словно бы не сознает, хотя понимает, конечно, что воровство — преступление. Пряמודушная Рита в его поступке видит «дурь» и жалеет его. Не ради себя же он!

А вот всей душевной сложности Бориса Алексеевича не достало и на то даже, чтобы выполнить Ритину очень нетрудную просьбу: пойти и лично рассказать где следует все, что ему известно про Мощного, втравившего Костю в опасную авантюру, а то ведь так выходит, что Костя один во всем виноват. Обидный получился у Риты разговор с Борисом Алексеевичем, занятым в это время своим последним каламусом: неужели и этот не оживет? Каламус был ему важнее Костиной судьбы, и что-то новое для нее ощутила вдруг Рита в этом «загадочном» человеке: мелкость душевную, пересилившую и ее «необъяснимую любовь». И захотелось ей вдруг сказать ему — ученому человеку: «Вы сами говорили, что в творчестве раскрывается весь человек. У вас было творчество, когда я звонила?»

В творчестве раскрывается человек. А тут чему было раскрыться? Чему — кроме эгоистической жажды научной удачи? Борис Алексеевич поймал ее, эту редкую птицу удачу, а Костя — справедливо ли, нет ли — сам, что называется, виноват. «Один словил свое счастье, другой тянется, а не может. Отнять бы у счастливого да на несчастливых разделить. Опять несправедливость — счастливый тоже не виноват», — рассуждает один из героев повести, дядя Ефим...

Сегодня этот вопрос остается открытым: «счастливый» виноват или не виноват?

Разговор о счастье вел и Виль Липатов в своей последней «Повести без названия, сюжета и конца...». В повести о счастливой женщине. Сюжет здесь, разумеется, есть, но несколько необычный, ни на что привычное не похожий. Сюжет, перед которым бессилён обыденный здравый смысл.

Автор представил на читательский суд «модель», отчасти знакомую по многим произведениям последних лет, остановил свое внимание на современной деловой женщине, достаточно свободной в своем поведении, хотя и не без оглядки на общественное мнение. Помня всегда о людской молве, она, однако, поступает в соответствии с собственными понятиями о том, что хорошо и что плохо. Ведет себя так, как ей самой хочется или как ей видится правильным либо необходимым, — что бы после о ней ни судачили!

Почти гротесковая история двух замужеств учительницы математики из поселка Таёжное Нины Александровны Савицкой, рассказанная В. Липатовым, ставит немало вопросов, на которые только жизнь может дать ответ. Нина Александровна — женщина, что называется, на уровне. Превосходный педагог, депутат и вообще, как ее называют, «четвертая дама поселка». Со вкусом и в соответствии с модой одетая, причесанная лучшим в районе парикмахером и доведенная до кондиции средствами дорогой заграничной косметики. При всем том обманываться не будем: перед нами отнюдь не комический персонаж. Гротесковость — в манере письма, грубоватой и жесткой, присущей В. Липатову, но не в замысле.

Нина Александровна Савицкая — явление серьезное, она — воплощение живой реальности, и если автор свою героиню иногда рассматривал как бы через увеличительное стекло, то лишь для того, чтобы получше во всем разобраться.

В «Повести без названия...» Нина Александровна Савицкая — истинно действующее лицо, а не то чтобы так только — поставленное в известные обстоятельства. Ее отношения с другим центральным персонажем повести — главным механиком сплавной конторы Сергеем Вадимовичем Лариным — представляют собой взаимодействие двух, без сомнения, самобытных



характеров, в которых проглядывает отчасти и веяние времени.

Сергей Вадимович Ларин — лицо достаточно заурядное. Это видный и ладный мужчина: «не богатырь, но и не заморыш», «ни блондин, ни брюнет, ни шатен, а так себе, середочка на половиночку»; Нина Александровна его находит «забавным», хотя немножечко фатоватым и легкомысленным, — впрочем, и это, как говорится, в меру, а не то чтобы чересчур. Он человек веселый, любит разговаривать шутливо-замысловато, порою, правда, немного натужно шутит и с той замысловатостью, которую в просторечии называют «ёрничеством», и тогда его веселость Нину Александровну порядочно раздражает. И эта замысловатость речи, и эта натужность Сергея Вадимовича — следствие странной какой-то неловкости, напряженности даже, сильно им ощущаемой в присутствии Нины Александровны. Никто другой на него подобного действия не производит. Но эта причина читателю не сразу становится понятна, и сперва общее впечатление от Ларина не очень благоприятно. Впечатление такое, что он, как мальчишка, ломается. А ведь обоим уже где-то под сорок!

Вот, например, почти в самом начале повести происходит важный для этих уже не совсем молодых людей разговор: не образовать ли им, так сказать, семью, фактически, впрочем, уже образованную, только без формальностей, ибо дело ограничилось на первых порах скромной свадьбой в кругу ближайших — то ли можно сказать друзей, а то ли лучше выразиться скромнее — «сослуживцев».

«— Слушай, Нинусь, — закуривая последнюю перед сном сигарету, однажды сказал он... — а не сбегать ли нам в загс? Так, знаешь, взять да и нагрянуть...» Он это уютно спросил и немножко смешно, натянув одеяло до подбородка и держа папиросу вытянутыми губами. Помолчал и скосил на нее глаза. А в ответ она сухо ему сказала, что можно, конечно, сходить. И тогда он, в потолок уставясь, добавил: «А я ведь вас люблю, гражданочка», — словно бы долг какой выполнил, за что и получил от нее благодарный поцелуй с неожиданною сентенцией в придачу: «Хочешь получить новый экспериментальный дом? Ты знаешь, я тоже думала о нем...»

Вот это и есть завязка якобы не существующего сюжета повести.

Экспериментальный дом — самый первый в их таежном поселке коттедж со всеми удобствами, даже с ванной. Его получить — для поселковых ответственных лиц, безусловно, вопрос престижа.

Фабулу образуют реальные действия «четвертой дамы поселка» с целью осуществить мечту. Но сюжет — это прежде всего все-таки ее отношения с мужем. Отношения, о которых читателю предстоит больше догадываться. Но чтобы у читателя была «информация к размышлению», уже в самом начале повести вкратце излагается история первого брака учительницы Савицкой.

Первый муж ее, врач, считался у них в поселке неудачником, человеком более чем заурядным — слабым, лениво-равнодушным, раздираемым комплексом неполноценности. Болезненно самолюбивый, он даже свою непрезентабельную фамилию Замараев сменил на более звучную фамилию жены. Но однажды он от Нины Александровны взял и ушел, — она не так огорчилась, как испытала при этом укол самолюбия: какие же разговоры теперь о ней, брошенной, в поселке пойдут! Да и ушел-то к кому? К толстой заурядной блондинке с «хозяйственными» руками в сдобных ямочках... Но спустя несколько лет бывшего мужа, переехавшего в районный центр, было уже попросту не узнать: он, оказалось, и талантливый врач, и блестящий администратор; в больнице, которую он возглавляет, его обожают и больные, и сестры, и санитарки. Он даже стал отчего-то вдруг мужественным, красивым. Вернул себе прежнюю фамилию. Нину Александровну это превращение обидно задело.

Но все это — предыстория. Текущая суть повести — странные душевные терзания и превращения, подспудно происходящие с ее новым мужем, который из ловкого и ладного, почти еще молодого человека на глазах Нины Александровны превращается в печального неврастеника. У него даже язва желудка, зажившая было после его первой женитьбы, вызграла опять.

Автора занимали прежде всего переживания самой Нины Александровны по этому поводу. Ну и, конечно, ее беготня по «нужным» людям, заискивания перед членами поселковой жилищной комиссии, — кстати, как потом выяснилось, и не особенно нужные, потому что ее право въехать в новый дом серьезных сомнений не вызывало; она-то, впрочем, хлопотала, чтобы коттедж предоставили Ларину... В конце концов

оказалось, что для нее и не так уж важно — получат ли они новый дом.

Разве это ее тревожило? В доме ли дело?

«Подавишься ты этим домом!» — беззлобно и хмуро пророчила ей Валька Сосина, старая знакомая, к которой Савицкая убежала на всякий случай — как к члену жилищной комиссии. Эта самая Валька — престарелая женщина, каких теперь уже редко случается встретить: она была снайпером на войне, а ныне «вкалывает» разнорабочей и живет в общежитии — по законам «военного коммунизма»; она искренне презирает другую жизнь. «Дай мне в руки автомат — перстреляю всех замужних баб!» — выдает она бывшей своей подруге. Но и это без всякой злобы. Не поймешь: то ли она завидует удачливой Нинке Савицкой, то ли просто удивляется ей? И для Нины Александровны грубое Валькино «пророчество» — не обида, скорее — повод для размышления. Валька Сосина ставит, как говорится, вопрос ребром. «Ну какая ты мужняя баба, — толкует она Савицкой, — если за коренника тянешь, а твой механик на пристежке... Я вот одного понять не могу: откуда ты такая вылупилась? Ну, Серафима Иосифовна после гражданской войны бабой сделаться не может, я — с Отечественной больше мужик, чем баба, а вот ты — откуда?»

Ответить на этот вопрос и писатель в затруднении, хотя и привел он в своей повести без названия множество аргументов; проводил и различные психологические эксперименты, сопоставляя свою не в меру мужественную героиню с другими поселковыми учительницами, живущими столь же самостоятельно и свободно. Преподавательница литературы Спыхальская, например, Савицкой не уступала в части интеллектуальной, но тем не менее с завидною простотой сменила свою женскую свободу на заурядную бабью жизнь, выйдя замуж за недалекого учителя физкультуры.

Сама Нина Александровна ужасается мысли, что почти уже превратилась в «мужика». А ведь она как женщина образец для всего поселка. Ее любят ученики, и большинство поселковых жителей искренне к ней расположены. Отличница Лиля Булгакова видит в своей любимой учительнице великолепный пример для подражания.

Да, но как же это было ужасно, когда Нина Александровна узнала, *каким* примером служит она для способной девочки: «роскошная баба» и «своего не

упустит!»! Лиля в письме к подруге восторженно изложила свое понимание характера этой любимой учительницы: «Была замужем за хилым врачешкой на сто десять рублей зарплаты, потом сделала вид, что он ее бросил, и выжидала своего часа до того дня, пока в Таежное судьба не забросила лакомый кусочек — разведенного механика сплавной конторы. Не мужик, а объеденье! Этот через три года пойдет в область, а там и в столицу нашей Родины! Вот у кого я учусь — у Нины Савицкой! Умная, образованная, прекрасно одетая, сильная, злая, мудрая...»

Так чему же она учит своим примером? Сильная, мудрая, злая, расчетливая... Что здесь хорошо и что плохо? И главное — откуда она такая? Ведь не по собственной же воле она всю жизнь «тянет за коренника»! И чего ради она мечется по поселку из-за коттеджа, который и нужен-то им больше для ларинского престижа. Сам Ларин перед нею только выламывается. Знает, что она его любит, но не в состоянии догадаться, отчего она, когда утром кофе ему подает, делает это с таким выражением на лице, будто сама себя перед ним нарочито смиряет и ему же это свое смирение горделиво показывает, кажется, вовсе этого не замечая...

В. Липатов оставил свою героиню как бы на распутье: отказаться ли ей от коттеджа? Расстаться ли с мужем? Хоть бы для того, чтобы он себя снова почувствовал человеком! Как ей поступить — ради малопонятной, но все же явственно подразумеваемой справедливости? В сущности, как бы она ни поступила, что это в ее жизни изменит?.. Всякий решительный шаг еще раз подчеркнет ее странный характер.

Разумеется, писатель только ставит вопросы. Решает их жизнь. И в такой постановке заключена своя логика: писательское отношение к житейскому факту. В данном случае — к изменившемуся на глазах у всех соотношению сил в семейном, так сказать, организме. К новым свойствам мужской и женской «роли». Все эти перемены имеют социальный характер и ведут к обновлению нравственных норм поведения человека в быту, и не только в сугубо семейном. Новый порядок вещей никого не оставляет равнодушным, ибо так или иначе касается всех. Писательская оценка перемен пока остается по преимуществу эмоциональной.

Живая человеческая реакция на жизненный факт. Отсюда и горестное удивление В. Белова в его коротких, словно бы ослепляющих болью рассказах. Отсюда же и гротесково преувеличенное недоумение В. Липатова. Меньше бросается в глаза вопросительная интонация В. Усова, — здесь вопросами больше задаются сами герои. А вот Г. Николаев и вовсе не ставит вопросов: за него это делает читатель...

Между тем удивление — реакция по природе своей кратковременная; затянувшееся литературное недоумение претворяется в нарочитость приема. Все чаще писатель подчеркнуто *касается* темы — там, где читатель вправе надеяться на более глубокое проникновение в существо проблемы и во всяком случае — на основательное знание жизни.

Возвращаясь к делам житейским после затянувшейся паузы, наша беллетристика на первых порах активно выступила в защиту живого чувства против окаменевших морализаторских догм. Теперь задача, думается, другая: пора бы помочь становлению новых твердых нравственных представлений. И кому же, как не писателю, ощутить эту грань — норму истины и человечности в повседневном бытовом поведении современника.